

Г.Д Епифанов

Воспоминания

*Я ехал к Ростову
Высоким холмом,
Лесок малорослый
Тянулся на нем:
Береза, осина,
Да ель, да сосна;
А слева - долина,
Как скатерть ровна.
Пестрел деревнями,
Дорогами дол,
Он все понижался
И к озеру шел.
Ни озера, дети,
Забить не могу,
Ни церкви на самом
Его берегу:
Тут чудо - картину
Я видел тогда!
Ее вспоминаю
Охотно всегда...*

Н.А. Некрасов

Моя родина

У нас существует, так называемое, «Золотое кольцо». Это установленный маршрут знакомства с гроздью знаменитых старинных русских городов и, отправляясь в поездку по этому кольцу, вы можете попасть в знаменитый город Ростов Великий над озером Неро. Это один из самых грандиозных и прекрасных ансамблей русского XVII века. Даже для искушенного и привычного глаза – Ростовский Кремль всегда неожидан.

Если достанете лодку и выедете на середину озера, вы окажетесь под сильным впечатлением. Озеро обычно волнуется. Тени белокаменных церквей и храмов часто вдали смешиваются. Освещение непрерывно меняется: то майский грозовой ливень рябит озеро и скрывает даль, то солнце внезапно всеми лучами нацеливает на какой-нибудь храм, будто намереваясь вывести его вперед или приподнять над другими. Со своим Кремлем, городскими памятниками, Яковлевским монастырем на западе и Авраамиевским – на востоке, Ростов не сравнится ни с чем в целой России. Он совершенно своеобразен. Лейтмотив его торжественной красоты принадлежит именно XVII веку.

Когда плывешь на лодке мимо Ростовского Кремля, здания его как бы тихонько передвигаются по твоей воле, оборачиваясь к тебе то одним фасадом, то другим. Купола и главы то собираются в пышные букеты, то словно растягиваются в гирлянду. Башенные шатры осторожно выдвигаются из-за деревьев между куполами и крестами. Такой калейдоскопической смены архитектурных пейзажей на небольшом пространстве вы не увидите нигде. Зритель становится художником, творцом, по его воле можно бесконечно менять эту сказочную панораму, стоит только не спеша грести, чтобы, наконец, включить в нее и окраинные монастыри, сторожившие с боков белокаменный ларец Кремля. Строго говоря, не все эти здания относятся к Кремлю, но издали так слиты воедино, что кажутся неразделимыми.

Основа ансамбля – Успенский Собор XVI века, отделенный невысокой каменной оградой от городского центра. Рядом с ним красивая звонница, грандиозный музыкальный инструмент с тринадцатью звучными колоколами, создавшими славу Ростовскому звону. Каждый из этих колоколов - настоящее произведение искусства. Звоны эти были особенно неотразимы перед всеношной, когда при первом начальном ударе колокола (две тысячи пудов колокола, названного «Сысой»), этот удар подхватывали своими звонами семь монастырей, окружающих город, да сорок приходских церквей. Создавался необычной силы и выразительности концерт, пленяющий всей своей мощью. Ростовские звоны приезжали слушать знаменитый композитор Берлиоз, Шаляпин, Горький, Луначарский. Не так давно Академия Наук СССР вынесла постановление восстановить эти звоны, имеющие европейское значение.

Раннее детство

В раннем моем детстве семья (отец и мать) жили у самого озера, в низине вала, окружающего с западной стороны Кремль. Это, пожалуй, красивейший вид Ростовского Кремля, неоднократно изображаемый нашими знаменитыми художниками Суриковым, Рябушкиным, Кустодиевым, Юоном, Грабарем и Петровичевым - художником Ростовского края. Конверт, с вложенной в него пластинкой «Ростовские звоны», содержит изображение этого места, написанного Рерихом. Со двора нашей хаты уже открывался верхний кусок архитектурного узора, а когда, бывало, (хорошо помню) поднимешься на самый верх вала, то перед тобою засверкает сказочная красота Кремля. В детстве, по глупости, конечно, думалось, что это вообще так и должно происходить. Только значительно позже я понял и глубоко оценил всю сказку, созданную нашими умельцами прошлого. Недаром прославленный поэт Некрасов, побывав в Ростове, написал памятное стихотворение, посвященное детям, и выразился так: «Тут чудо картину я видел тогда! Ее вспоминаю охотно всегда». Место наше изстари называлось Подозеркой, и только в период кабинетной спешки, забыв слова М.И. Калинина «беречь елико возможно нашу старину, ее богатые корни», взяли да и переименовали Подозерку на «набережную имени Л.Н. Толстого», который никогда в этих местах не бывал, да, вероятней всего, даже и не знал о существовании какой-то Подозерки. Толстой, конечно, глубоко чтимый русский гений, но зачем же корезить старину такого города как Ростов,

имеющий тысячелетнюю давность своего славного существования. Это уж просто дико и неуважительно и к Ростову, и к Л.Н. Толстому.

Родители мои происходили из крестьян: мать – из села Караш Ростовского уезда, а отец из села Великое Ярославского уезда. Мать приехала в Москву и поступила ученицей в ателье мод, работая по украшению платьев гарусом и бисером. Отец поступил учеником в типографию Т.И. Гаген. В Москве и произошло знакомство моих родителей. <...>

Родители были очень работающие. Порядок в доме держала суровая мать, имея очень твердый характер, являлась исключительно дисциплинированным человеком. Я очень любил, когда папа брал на дом случайный частный заказ. В этом случае единственный стол выдвигался на середину комнаты. Папа вооружался специальными принадлежностями для переплетного дела. Я усаживался с краю и наблюдал. Папа был переплетчик высшей квалификации, позолотчик и «мраморист». Во время передышки я просил папу мне порисовать, и он охотно это делал и, как правило, рисовал синим и красным карандашом зайца, танцующего в лесу на пеньке. Карандаш был с двумя концами: синим и красным. Рисунки выходили сине-красными, и я очень этому радовался всегда. В типографии папа уже считался старшим переплетчиком.

Когда к юбилею 300-летия дома Романовых в Ростов ожидался приезд царской семьи, папе был поручен Городской Управой заказ - сделать специальный альбом для подарка Государю. Помню мелькавшие в руках папы бархат, шелк, атлас и какую-то редкостную кожу. Папа с успехом справился с этим заказом.

Живя на Подозерке, мои родители снимали отдельный домишко-развалюху у владельца Алексеева, торговавшего готовым платьем на толкучке. С его сыном Сашей (старше меня на семь лет) я был очень дружен. Я поражался Сашиному умению рисовать быстро и легко один сюжет: офицер с дамой едут в коляске, или офицер ведет даму под руку. Рисовал он обычно карандашом на деревянных досках ведущего в дом коридора. Ростовский богач и меценат Шляков, по-видимому, тоже подметил эти качества у Саши, помог ему уехать в Москву и поступить в Строгановское училище. Родители же, в силу моей начинающейся болезни рахитом, переехали в другой дом, бывшую церковную сторожку церкви Благовещения. Эта церковь разбогатела от чудотворной иконы «Умиление Божией матери», построила каменную ограду и каменную сторожку, а деревянную перенесли в конец пруда, и мои родители арендовали этот домик. Прежняя наша хибара была уж очень дряхлая. Да к тому же кто-то позарился на нас и однажды, когда мы были в гостях, обокрал. На что, собственно, могли позариться воры – непонятно. Ощущение, помню, было очень противное. Весной, когда разливалось озеро и, когда ветер гнал к нашим берегам лед, происходили серьезные поломки домов. Многим приходилось выбираться временно на жительство в надежное место. Все вместе взятое побудило моих родителей переехать в другой дом, каким и оказалась церковная сторожка. Комната была одна. Полкомнаты занимала громадная печь. Но так как мы одни жили в этом доме, у нас было уютно. На каникулах Саша Алексеев приходил ко

мне на новую квартиру и рассказывал о премудростях учения. Особенно увлеченно он говорил о воздушной перспективе. Я многое не понимал из его разговоров, но нравилось слушать. Сам же я, уже обучаясь в Академии Художеств и бывая в Ростове, любил заходить к родным Саши полюбоваться его карандашными рисунками, сделанными на деревянных досках коридорных стен. Меня особенно удивляло в этих рисунках сходство с рисунками Павла Федотова раннего периода. Это просто поражало.

В период жизни на Подозерке мне доводилось видеть многих художников, рисующих мой Ростов. Однажды я обратил внимание, как зимой, в мороз, на озере работал художник, озябший и гревший свои руки дыханием. Чтоб согреться, он бегал вокруг своего мольберта. Я помчался домой, рассказал матери о виденном, и она велела пригласить этого художника к нам, выпить горячего чая, что я и сделал с удовольствием, наблюдая потом сидевшего со мной рядом всамделишного художника.

Лет с шести я ходил в переплетную мастерскую к папе. Носил ему завтрак. Помню запах клея, запах нарезанной папширом бумаги, наборный, брошюровочный, печатный цех и своего папу за процессом переплетного дела. Папа носил в эту пору очки, которые любил вскидывать на лоб. Вся обстановка типографии меня гипнотизировала, и я полюбил всю процедуру делания книги.

Юность

В нашей семье добытчиком был один отец. Мать занималась домашним хозяйством. Заработка было в обрез. Я окончил четырехклассное городское училище. Встал вопрос о помощи с моей стороны. По чьей-то рекомендации отец хотел меня устроить на работу в Волжско-Камский банк и повел меня туда для знакомства. Но когда я пришел с отцом, почему-то ужаснулся от нахлынувшей тоски и скуки и стал просить отца не оставлять меня на работе в банке. Тогда отец, будучи знаком с присяжным поверенным Анатолием Алексеевичем Степановым (отец переплетал ему ноты для рояля) повел меня к нему для беседы.

Кабинет Степанова был сплошь увешан копиями с живописных картин, сделанными им самим, по его словам, в часы досуга. Мне у Степанова все понравилось, и я охотно согласился у него работать, тем более, что ему, Степанову, оказался нужным как раз секретарь. Степанов был доволен моей работой, и я стал у него вроде своего человека. Так, когда Анатолий Алексеевич со своей женой Лидией Васильевной уходил из дома, я оставался у них в квартире один с их маленькой дочуркой. Я иногда вставал на стул и рассматривал копии картин вблизи и всегда удивлялся умелости сделанного. Прошел энный срок времени, и Анатолий Алексеевич счел возможным рекомендовать меня в уездный суд секретарю Федору Владимировичу Королеву. Время было военное. Основной штат был мобилизован, а я оказался толковым чиновником. Королев был тоже мною доволен и на первое время направил в архив старых дел для сортировки. Архив был сырой, темный.

Освещался только керосиновой лампой. Дела были почти спрессованы от сырости. Работать было очень тяжело. Кругом сырость, пыль. Отец узнав об этом, пошел к предводителю дворянства, который возглавлял это учреждение, с просьбой найти мне более нормальную обстановку для работы. <...> Меня перевели наверх в большую комнату, где был стол, накрытый большим черным сукном. Я стал работать на пишущей машинке, выполняя различного рода поручения по судебным делам. При мне началась реорганизация судебного учреждения. Уездный суд переименовали в Совет народных судей, а потом в Революционный трибунал. Обстановка оказалась очень интересной. На судебные заседания съезжались высокообразованные силы: адвокаты Москвы, например, известный адвокат Плевако. Впервые услышал здесь о существовании Анатолия Федоровича Кони. <...> Много было юридических споров по гражданским, уголовным и административным вопросам. Для меня открывался какой-то совершенно новый, занимательный мир. <...>

Как-то раз в качестве присяжного заседателя в суд был приглашен один податной инспектор. Здороваясь со всеми, он подошел и ко мне. Я готов был с ним поздороваться и протянул для этого свою руку, но этот фрукт, инспектор, взглянул на меня, увидел перед собой молокососа, молодого канцеляриста, и вначале было тоже протянул мне руку, но потом, решив, по-видимому, что это для меня будет очень большая честь, свою руку резко отдернул назад и спрятал за спину. Меня охватил мерзкий стыд, скорее за него, старого болвана <...> Этот болван больно ударил меня как кирпичом. Я понял свое низкое положение человека с начальным образованием. Сгусток мерзости осел во мне, но я взял себя в руки и продолжал работать, ничем не проявляя своей злости. Да и кому же, собственно, было до этого дело?

Мое непосредственное начальство, наоборот, очень уважительно и внимательно относилось ко мне, я продолжал работать, а тут меня вскоре привели к присяге для получения чина коллежского асессора. Я имел право носить судейскую форму: фуражку с черным бархатным околышем, на ней кокарду и тужурку с позолоченными пуговицами. Форму эту я почему-то страшно невзлюбил, но продолжал работать.

Как-то поручили мне выполнить обязанности нотариуса, сделать заявителю соответствующее завещание. Помню большой купеческий дом с анфиладой обширных комнат. В одной из комнат с высоким потолком на кровати лежал хилый старец. Для него и нужно было составить духовное завещание. Меня, правда, проинструктировали, как надо это сделать, и я выполнил все по правилам. Получил одобрение. Почему-то меня направили потом работать в уголовный розыск. Оттуда, по требованию следователя Филиппова, меня направили в Следственную Комиссию, руководить ею уже как начальнику. Работать было увлекательно, и я быстро освоился с кругом своих обязанностей. В свою канцелярию Филиппов подобрал сплошь красивых барышень и женщин, и я даже сам увлекся одной красивой девицей, Ольгой Куликовой, дочерью местного купца, торговавшего москательным товаром. Куликова жила на соседней с моею улице, и мы на работу и с работы ходили всегда вместе. Но вот

однажды, явившись в свою канцелярию, мы узнали неприятную новость. Наш Филиппов оказался арестованным за превышение власти. Оказывается, во внеслужебное время, Филиппов, допрашивая подследственную, применил противозаконные меры, вплоть до попыток к насилию, и на этом погорел. Нас с Куликовой, как, по-видимому, наиболее молодых, вызвали в качестве свидетелей в Губернский суд. Но мы ничего сами толком не знали, так как все происходило во внеслужебное время, о чем мы и сказали. Нас с тем и отпустили. Итак, мы остались без начальства. Из Москвы приехала жена Филиппова ликвидировать оставшееся после мужа имущество. Разбираясь в чулане, жена обнаружила футляр со скрипкой, и, узнав, что я учусь в музыкальной школе, <...> мне подарила. Я очень благодарил. К сожалению, скрипка оказалась невысокого качества. В жизни я сменил много скрипок, футляр же до сих пор берегу, как память о своей пестрой жизни в Ростове. Сейчас в этом футляре лежит скрипка прикарпатского мастера ручной работы и благородного звучания. Но я давно ушел от скрипки, погрузившись с головой в изобразительное искусство, в особенности - цветную гравюру на дереве, которую я очень полюбил и продолжаю до сих пор увлекаться ею.

<...> У нас в городе открылась студия рисования. Я вспомнил свои успехи в городском училище и поступил в эту студию. Преподавал Александр Иванович Звонилкин, педагог гимназии, ученик Коровина. Помню занятия на открытом воздухе. И вдруг – новая неожиданность – к нам в город привели группу пленных австрийков. Из них многие были хорошие музыканты. Как-то, придя на очередной сеанс в кино, я обомлел от неожиданности. Картину сопровождал рояль со скрипкой (следует заметить, что в мое время не было ни телевизоров, ни радио, ни транзисторов). Часто вечерами я просто уходил в городской сад, где находилось деревянное здание «кино», садился в аллее на лавочку поближе и вслушивался в звуки скрипки. Постарался узнать фамилию скрипача. Помню до сих пор – Детьяш. Я попросил его давать мне уроки. Он согласился. Папа через кого-то купил в казарме случайную скрипку. Но учиться на скрипке для окружающих – это бич Божий, и я упрямил по соседству нашу квартирную хозяйку учиться играть у нее в бане, а тут, к удаче моей, начальство, узнав о моем увлечении игрой на скрипке, разрешило после службы оставаться в совещательной комнате и играть сколько вздумается. <...>

Мне особенно благоволил начальник трибунала Сергей Николаевич Князев, живший через дорогу от суда. Он после отдыха приходил в помещение суда, садился в зале на стул и обращался ко мне с просьбой: «Геннаша, сыграй-ка мне, пожалуйста, мазурку Венявского». И я играл. К этому времени я уже добрался до классического репертуара. Отзывы были отличные. Но странное какое-то было время. Каждый день шли судебные заседания с вынесением приговоров к высшей мере наказания – расстрелу. А вечером я играю в этом же помещении на скрипке. Прохожие с удивлением вскидывали головы на окна страшного учреждения. Я к этому времени был секретарем Народного суда 2-го участка. Работал с милейшим судьей Леонидом Ивановичем (фамилию забыл). Он был несколько болезненного вида, очень худощавый. Частенько по нездоровью брал отпуск, в административном отношении тогда его заменял я,

мне вполне доверяли. Это было время борьбы с бандитизмом, спекуляцией и пьянством. <...>

Наши австрияки были куда-то переведены, а в музыкальном училище педагога по скрипке так и не оказалось. С ведома своего начальства я выехал в Ярославль. Разыскал музыкальное училище. Познакомился с преподавателем по скрипке Баклановым, учеником профессора Московской консерватории Гржимали, и упросил Бакланова позволить к нему приезжать на уроки. Бакланов согласился. Я два раза в неделю вставал в 4 часа утра, спешил на вокзал к рабочему поезду, который уходил в 5 утра. В 7 часов я приезжал вместе с мешочниками в Ярославль и невыспавшийся шел на урок к Бакланову. В 7 часов вечера этим же поездом я возвращался обратно, а утром вставал на работу в суд. Конечно, уставал, но настроение было бодрое. Тому была хорошая причина. Наш педагог музыкального училища – Шевченко, дирижер по образованию, окончивший Московскую филармонию, задумал и организовал ученический симфонический оркестр. Разучивали фрагмент оперы «Евгений Онегин». Арию Татьяны пела местная певица Гарфункель, голоса небольшого, но симпатичного тембра.

Время было тяжелое, в особенности в деле заготовки дров для отопления. Летом и зимой мы ходили в ближайший лес, рубили целые деревья. Помню, однажды летом тащили с отцом тяжелое бревно. Дома нужно было его распилить, расколоть и уложить, а зимой надо привести на санках. К тому же еще необходимо было ходить на вокзал выгружать и пилить дрова за паек соли, которая была продуктом обменного фонда. И при всем том, какая бы усталость ни была, окрыляло сознание, что вечером будет репетиция «Евгения Онегина». Сознание этого взбадривало и давало новые силы при мысли, что впереди ожидается непременно что-то очень светлое и радостное. Курьез создавался при пилке дров на вокзале. Пилили мы вместе с народным судьей за паек, и эту же работу выполняли нами осужденные, вроде Депьяша, арестованного за спекуляцию. Работали все вместе, плечом к плечу. Дикое было время, а вспоминается с удовольствием и беззлобным юмором.

Вечерами я любил проходить по гостиному ряду и заглядывать в окна магазина Иванова, торговавшего открытками с цветными репродукциями. Я выбирал нравившуюся мне, а заодно покупал клеенку и масляные краски для копии в увеличенном формате с открытки, с расчетом поменять эту копию в деревнях на сметану, молоко или крупу. Мы с матерью, случалось, ходили по деревням и порой меняли на продукты мои копии с открыток. Особенно любил я копировать пейзажи Федора Васильева, даже сейчас хранится такая копия у меня дома, в Ленинграде.

Но заноза, оставленная податным инспектором, у меня засела, кроме того, мое отношение к судебной обстановке усугубилось еще одним обстоятельством: я увлекся философией Л.Н. Толстого. Она очень на меня подействовала, до такой степени, что собирался даже отказаться от военной службы в случае мобилизации. Так что в суде я работал через силу. В эту пору я вступил в

Московское вегетарианское общество, следуя заветам Толстого. Представляете, мое состояние: я работаю секретарем трибунала и каждый день идут судебные процессы. Однажды принесли на носилках подстреленного бандита, главу банды. Приговор несомненный: «расстрелять». Являясь секретарем, печатаю копию приговора, по которому осужденный будет расстрелян. В коридоре слезы и рыдания родных, а у меня в голове философия Толстого о непротивлении злу. Такая раздвоенность мне была уже в безумную тягость. Мое терпение иссякло. Я решил уйти окончательно. <...>

С 1917 года по 1921 год я был еще председателем Комитета служащих городского суда и его уезда. В ту пору так именовался профессиональный союз. Работал я в профсоюзе увлеченно, и меня единодушно переизбирали. Но все это мне было уже безразлично. Меня уговаривали остаться и народный судья 2 участка Леонид Иванович, и уполномоченный Ярославского губернского суда Сергей Николаевич Князев. Но я был упрям, непреклонен и, таким образом, оставил свою работу в суде, не зная еще, где же, собственно, я обоснуюсь в новой работе. Это был вопрос.

Я обратился в среднюю школу с предложением своих услуг в качестве преподавателя пения. Меня уже знали как музыканта и охотно приняли мое предложение. <...> В городе от поры до времени мелькали афиши, извещавшие о моих концертных выступлениях. Мои выступления уже рецензировались в газетах. Словом, получился первый парень на деревне. Все это я хорошо понимал, но себя не переоценивал. В школе проработал год, пока не опубликовалось постановление о ликвидации в учебных заведениях предмета пения, и я опять повис в воздухе. К счастью, меня хорошо знала сестра директора музея древностей Аля Ушакова. Она переговорила с братом, и тот охотно взял меня в сотрудники кремлевского музея. Таким образом, возникла очередная полоса моей жизни – сотрудника кремлевского музея в Ростове, и я начал закраивать новую межу своего бытия. Суд оказался позади, и остались только одни воспоминания о времени, проведенном там. Правда, я очень обязан суду. У меня расширился кругозор от общения с очень высокообразованным кругом специалистов. Да, многих из своего начальства я и сейчас вспоминаю с большой симпатией.

Как-то раз, во время музыкальных занятий, к нам в музыкальное училище пришла сестра Титова – местного краеведа историка, – прибывшая из Лондона и окончившая там консерваторию. Ее заинтересовала постановка дела у нас. По специальности она была пианистка. Побеседовав о проблемах нашего училища, и узнав, что я учусь на скрипке, любезно пригласила меня к себе в особняк, славившийся своими добротностью и богатством. Титова вынула ноты со скрипичной партией и предложила мне сыграть вальс Сибелиуса. Я с листа читал ноты уже легко, да они и не были сложными. Так я впервые познакомился с музыкой Сибелиуса. Аккомпанировала сама Титова. Как играл – уже не помню. Наверно, паршиво, но она очень одобрительно отнеслась, похвалила и даже предложила из трех оказавшихся у нее скрипок выбрать себе на память любую. Я с благодарностью выбрал одну, несколько своеобразной

конфигурации скрипку, которую и показал Бакланову. Бакланов усмехнулся и сказал, что на такой скрипке можно играть только в цирке. Но понравилось ее звучание, и я с ней не расставался. Только уезжая в Ленинград, я эту скрипку продал по просьбе Пахарнаеву. По звучанию она ему тоже очень нравилась.

Вот таким образом, нежданно-негаданно, я познакомился с музыкой одного из крупнейших композиторов Финляндии Сибелиуса. В будущем я неоднократно слушал этот вальс Сибелиуса в исполнении крупных артистов и всегда с удивлением и большой симпатией реагировал на него. Позже, во время НЭПа, в оркестре, слаженном Марковым, я играл уже более уверенно этот вальс соло, и порою неоднократно, по просьбе находящихся в кабаре посетителей. В этом случае под эту музыку посетители танцевали между столиками. Время было какое-то бесшабашное, да и я был молод и тоже будоражился от самой атмосферы развлечения. Ростов той поры был полон бездумного веселья. Концерты, спектакли шли непрерывной полосой.

В мужской гимназии был замечательный рояль, кажется, английской марки. Помню, многие артисты, приезжавшие и выступавшие, с восторгом отзывались о качестве звука этого инструмента: <...>. Сливинский, Гельцер и масса других. В один и тот же вечер, бывало, идет концерт в гимназии, в Народном Доме - спектакль с приглашенной труппой, и еще представление в Доме Красной Армии. Я также участвовал в концертах, чаще всего в трио. По профсоюзной линии устраивались специальные вечера в Доме Профсоюзов у Каменного Моста. Помню, как играл серенаду Шуберта, и у меня на скрипке лопнул басок, и я не закончил исполняемой вещи.

В актовом зале гимназии висел портрет строителя гимназии Кекина, писанный маслом преподавателем Звонилкиным. Гимназия была на редкость совершенного качества, с обсерваторской башней, великолепными лабораториями по предметам физики и химии под руководством прекрасного педагога В.И. Шухвастова.

Словом, Ростов жил разнообразно насыщенной жизнью. Пожалуй, это был лучший период города тех лет, оживленный разнообразием наук, сценическим искусством и музыкой. Диспут А.В. Луначарского с протоиреем Введенским тоже увлекал своим острым динамичным спором о науке и религии. Время той поры вспоминается с особенной любовью.

Город парил в каком-то упоительном вихре жизни.

Работа в музее

Познакомившись с директором Музея Дмитрием Алексеевичем Ушаковым, я сразу в нем распознал человека высокой культуры, опытного специалиста и энтузиаста самого музейного дела. Для начала он поручил мне знакомство с чудесной коллекцией старинного русского фарфора. Собрание было исключительное. Помню коллекции знаменитых русских заводов старой марки -

раннего Кузнецова, братьев Храпуновых и др. Один Императорский завод чего стоил! Глаз не оторвешь! Потом мне поручили переписать экспонаты по народному творчеству: деревянная резьба. После судебных процессов я попал в новый, чудесный мир, полный очарования.

В скорости я обучился водить экскурсии по Княжьим теремам и переходам, обозревая по очереди все кремлевские церкви. В Белой Палате было великолепное собрание икон, с которыми я, благодаря содействию музейных работников, знакомился, постепенно приобретая опыт в распознавании особенностей стиля той или иной школы. Моими учителями были прекрасный специалист Петр Сергеевич Иванов, Сергей Николаевич Иванов и попросту Володя Иванов, который потом возглавлял управление по охране памятников старины. Д.А. Ушаков тоже уделял мне достаточно внимания в деле моего роста в новой обстановке. А когда я познакомился с чудесной библиотекой Музея, то обнаружил записи священника Девичьего монастыря Израилева о камертонах наших соборных звонов. Я тотчас же, зная нотную грамоту, использовал эту запись для наших музейных камертонов, находящихся в той же Белой Палате. Израилев эти камертоны и имел ввиду, т.к. при нем и по его указанию были в свое время изготовлены. И вот мы на этих камертонах стали для экскурсий имитировать наши соборные звоны. Каждый камертон соответствовал звуку того или иного колокола соборной звонницы.

Вспоминаю только один неприятный случай из своей музейной практики. Однажды директор обратился ко мне с таким сообщением: «Образовалась Государственная комиссия по национализации церковных ценностей. Музей обязан обследовать приозерные церкви и взять на учет древние иконы, библии, евангелия в инкрустированных переплетах и финифтянные образки; хотел бы Вас включить в комиссию Горисполкома в качестве эксперта». Я согласился. И вот Горисполком выделил двух своих товарищей, а третьим присоединился я в качестве эксперта от Музея. Тронулись мы пароходом на ту сторону в два крупных села: Поречье и Угодичи. Вначале все шло более-менее гладко, правда, наше заявление о необходимости осмотреть церковное убранство вызывало явное недоброжелательство и некоторое возбуждение. Особенно явно это произошло в селе Угодичи: мы забрали в местной церкви ценности, состоящие из икон шестнадцатого века, библию инкрустированную, что-то из финифтяных образков. Составили список национализированного, заявив, что все это будет храниться в Музее и собрались уже уйти, как вдруг в церкви оказалась уйма народа.

Толпа стала осыпать нас ругательствами и угрозами. Мы пытались народ утихомирить, показывая опись, скрепленную печатью Горисполкома, но шквал оскорблений не утихал. А время близилось к вечеру. Нужно было думать о ночлеге. Мы пришли к местному мельнику. Он устроил нас на ночлег на сеновале, но вскоре вернулся возбужденный и заявил: «Вот что, друзья милые, мой вам совет: уходите подобру-поздорову. Все село взволновано. Хотят все у вас отобрать, да к тому же еще – поколотить». Мы струхнули. На дворе ночь, мы среди чужих. Ушли молча с мельницы, заночевали под каким-то стогом

сена, а утром рано встали и скоренько пошли к пароходу, уходившему первым рейсом к Ростову в 5 часов утра. На том наша поездка и кончилась. В подвалах церкви Спас на Сенях и без того сгрудилось так много ценностей, что директор организовал ночные дежурства, и мы по очереди ночевали в Музее, вооруженные одним телефоном.

Итак, я по-хорошему расстался с судом. Было немного грустно, но в тоже время и легче. Какой-то груз печали и душевных неполадок был позади. Успел побывать педагогом в школе. Начал наращивать опыт в интереснейшей работе по музею, приобретая новую специальность. Открылся у нас Рабфак. Я бросился туда и усердно учился. Низшее образование меня обескураживало. Я стремился приобрести другую специальность на правах человека, имеющего высшее образование.

Скрипач из меня образовался оркестрового порядка. Учиться музыке надо было начинать не в 17 лет, а в 7. Ростов стал казаться тесным для меня, а тут по городу пошли слухи, что готовится перемена в нашей политике с изменением политической экономии. Но что и как - никто не знал. Словом, наступал НЭП, и наступил. Город взбудоражился. Встряхнулся, образовалась какая-то погоня за обогащением, попытка вернуть минувшие нормы бытия. Некий гражданин Финяев открыл увеселительное кабаре. Наш педагог по музыке Семен Георгиевич Марков организовал для кабаре оркестр. Какое же веселье без музыки?! Мне было предложено возглавить оркестр как скрипачу. Жалованья никакого, Финаев обещал только особый ужин в конце вечера. Играть надо было с семи вечера до двух часов ночи. Время было голодное - я согласился. Вечер мы обычно открывали браваурным маршем, а потом шла разнообразная программа. Играли все венгерские танцы Брамса. Иногда я играл соло. Все вначале шло более-менее нормально, потом только образовалось досадное недоразумение: Марков любил горячее, а так как весь Ростов хорошо знал Маркова, то у каждого столика его угощали до такой степени, что к 12 ночи Марков был уже пьянехонек. Скандал; хорошо, что Аля Ушакова кроме кларнета играла и на рояле; она пересаживалась на место Маркова, откладывая свой кларнет в сторону. В третьем часу ночи мы обильно ужинали, и все расходились, кроме меня. Я же должен был футляр со скрипкой брать в левую руку, а правой поддерживать под руку пьяного Маркова, доставляя его на Калмыцкую улицу, в дом Царькова, на дочери которого был женат Марков. Это происходило почти каждый вечер и в любую погоду. Я малость сам уже дурел от этой несурзанности, но все мы любили Маркова. В трезвом виде он был обаятельный человек.

Вот так время и бежало. Зимой, на каникулы, приезжали студенты, устраивали вечера. Меня приглашали на концерты. Я с болью в душе играл, завидуя положению студентов, которые приехали отдохнуть и вот вновь уедут учиться, а я топчусь на месте. Завидовал им ужасно, но выхода пока не находил. <...>

Из голодной Москвы к нам неожиданно приехали крупные артистические силы: ведущая балерина Большого театра Гельцер, концертное трио Шор, Крейн и

Эрлих, знаменитый певец Сливинский, обладатель роскошного баритона. Приехал он с женой Марусей Медведевой (она была дочь местного купца, кожевенника Медведева, окончившая Московскую консерваторию, с симпатичным, но небольшим голосом, приятного тембра). Они со Сливинским часто вдвоем выступали. Я же присутствовал на каждом концерте Сливинского, помогая пианистке переворачивать ноты. Брат Маруси Медведевой был моим товарищем по музыкальному училищу. Отсюда и частые посещения концертов Сливинского.

Город жил удивительно весело: каждый день концерты и спектакли приезжей труппы в Народном Доме. Даже меня угораздило быть участником спектаклей. Играл какого-то офицера в спектакле «Майорша» и в пьесе Островского «Свои люди – сочтемся».

Меня же все время грызла тоска и желание поступить в какой-либо ВУЗ – приобрести высшее образование. Но что я мог поделать в своем сонном городишке, зимой запорошенном снегом, а летом - с грохотом телег и пылью от товаров местных купцов? Держать экзамены экстерном – не знал как и где готовиться. Все это создавало сумятицу в моей голове... Я стал самостоятельно учить тригонометрию, пользуясь советами приезжего из Польши инженера Пахарнаева. Но все как-то бессистемно и оцупью. Поступил учиться в открывшийся Рабфак с педагогическим уклоном с мыслью перевестись в Москву, но затея пролетела неудачей. Иногда участвовал в концертах. Приехала к нам на гастроли какая-то опереточная труппа. Я включился с Пахарнаевым в оркестр сопровождать спектакли игрой на скрипке. Словом, закужился.

Во время приезда в Ростов московских артистов, я работал общественником в Союзе Рабис заместителем председателя Союза; по его просьбе должен был держать связь с приезжими артистами и знакомить их с городом. Особый разговор, в первую очередь, состоялся у меня с балериной Большого театра Гельцер. Ознакомившись с возможностями жительства в Ростове, она пожелала обосноваться в городском саду, в подсобных помещениях сада, а меня просила каждое утро навещать ее и знакомить с новостями города. Городской сад находился на краю нашего большого озера. Оно очень понравилось Гельцер, и она попросила меня катать ее на лодке в часы досуга. Держалась она очень просто, производила обаятельное впечатление, и я на все согласился. Каждый день с утра я уже был у Гельцер, присутствовал при работе камеристки, которая обычно приводила в порядок прическу рыжеватых волос актрисы. Затем, по приглашению, разделял скромный завтрак с Гельцер, и мы вместе спешили к озеру. Брали лодку, Гельцер смело вскакивала в нее, я за ней, садился на весла, и мы начинали кружиться по озеру, обозревая красивый силуэт Кремля, о котором я много рассказывал как работник музея. Гельцер разделяла мой восторг. Мы премило проводили время, много смеялись. Гельцер была очень проста и обаятельна, смешливая, с лукавинкой в глазах. Много было в ней женского очарования. В сущности, все время мы фактически проводили только с ней, т.к. ее компаньоны Шор, Крейн и Эрлих очень боялись воды, и в лодку их было не затащить. Я уже стал как-то привыкать к ее обществу и частенько с

грустью задумывался, что, пожалуй, скоро нужно будет и расставаться, но пока что продолжал каждый день бывать у нее и весело проводить время. Шор, Крейн и Эрлих не докучали мне своими хлопотами, точнее – не мешали увлекаться любезностями Гельцер, чему я был очень рад.

Но вот московская жизнь нормализовалась, и возникли разговоры о скором отъезде. Это не было для меня неожиданностью, но с Гельцер я встречался уже с большей грустью и заторможенностью в беседах.

Вскоре наши милые артисты отбыли в Москву, а я остался при своей общественной работе – помощника председателя Союза РАБИС. Мне все очень доверяли и даже выбрали в председатели городского сада и театра. На меня пали функции приема приезжих артистов, разных гастролеров: фокусников, гипнотизеров, жонглеров и прочих актеров. В этой деятельности у меня возникали иногда курьезные недоразумения. Так однажды жена гипнотизера просила воздействовать на ее мужа, который в чем-то вел себя непристойно. Но семейные дела я держал от себя в стороне. Только когда гипнотизер предложил нашей вздорной пианистке Бауэр сопровождать его в дальнейших гастролях, и она пришла ко мне за советом, сказал ей прямо: «Выбрось дурь из головы, у него таких жен в каждом городе по десятку». Бауэр осталась в Ростове. Как-то приехала труппа цыган, но погода была паршивая. Театр просто пустовал, и мои цыгане «погорели». Пришлось их отправлять в Ярославль в товарных вагонах. В общем, народ все был пустой, вздорный, и я все чаще стал задумываться, что же мне все-таки с собой делать? Специальности никакой, в перспективе ничего утешительного. Игра на скрипке – ерунда. Но неожиданно судьба послала благоприятную надежду.

У жизни есть своя мудрость – случай. Как-то встретил я знакомого художника Павла Саксеева, жившего на одной со мной улице. Я поделился своими горестями, а он говорит: «Знаешь, в Ярославле есть художественно-педагогический техникум, срок обучения 4 года. Кончая его, ты получаешь права человека со средним образованием. Попробуй поступить». Я попросил его меня потренировать и подготовить к экзамену, а знакомая в школе мне разрешила заниматься там рисованием. В школе нашлась гипсовая голова Праксителя. Саксеев поставил ее и преподавал азы построения головы для рисунка. Все лето я усердно тренировался. Саксеев время от времени ко мне заходил и одобрял результаты моих трудов. Я оказался понятливым, и вот наступила осень, время экзаменов. Я тронулся в путь, чувствуя недостаточность своей подготовки, но отступить было некуда и поздно. Я стал держать экзамен. И вдруг – о чудо! Меня приняли сразу на 2-ой курс. Со мной одновременно сдавал экзамен милейший парень Коля Рашков из Вологды, у них закрыли какой-то техникум. Его тоже приняли на 2-ой курс вместе со мной. Мы с ним очень подружились, он делился со мною всеми новостями. Его товарищи из Вологды уехали в Ленинград, поступили учиться в Академию Художеств, а Колю упрекали за то, что он поехал в Ярославль и уговаривали приехать в Ленинград. Коля все время колебался. Но вот однажды он мне говорит: «Давай, Геннаша, поедем вместе». Я опешил, говорю: «Коля, милый, у меня же низшее

образование и подготовка по специальности липовая». А он мне отвечает: «У меня тоже низшее образование, а подготовка моих вологодских товарищей не Бог весть какая». И вот зародилась шальная мысль - за оставшееся время учения на курсе попытаться сдать все экзамены в пределах техникумской программы, получить документ, а он будет равняться среднему образованию. На своем курсе мы догнали ранее поступивших товарищей и решили начать подготовку к сдаче общих экзаменов за полный курс техникума. Трудновато пришлось по математическим дисциплинам, но при отчаянном упорстве мы стали сдавать постепенно экзамен за экзаменом. Жучили себя беспощадно, придирчиво экзаменовали друг друга, ожесточенно придираясь к самой малой малости. Занимались до глубокой ночи. В итоге произошло чудо - мы одолели все трудности. Администрация заинтересовалась нашим упорством, а мы сознались в своих помыслах и попросили совета. В общем-то мы на курсе выглядели переростками, и над нами слегка подтрунивали. Руководство к нашим замыслам отнеслось положительно. Даже пообещали в случае неудачи взять нас обратно на 3 курс. Это нас воодушевило. Мы поздравили друг друга и бросились отдыхать в свои родные места: Коля в Вологду, а я – в свой Ростов, понимая отлично, что основные трудности еще впереди.

Сговорившись заранее о времени выезда, мы с Рашковым прибыли в чудесный город – Ленинград. Остановились на Литейном дворе и присоединились к уйме наехавшего народа со всех концов страны поступать в Академию Художеств. Спать улеглись в огромной мастерской прямо на полу. Ночью вдруг раздался громкий голос хмельного человека: «А вы знаете, черти, что такое искусство?!» - и посыпалась непристойная брань. Как выяснилось, пьяный скульптор Козельский, отличавшийся буйным характером, решил так взбодрить новоприехавших в храм искусств. Его уже знали по Академии. На днях его включили в какую-то делегацию для встречи с ректором Исааком Бродским, и Козельский, войдя в кабинет ректора, выскочил вперед делегации и, упав на колени перед Бродским, воскликнул: «О великий!» Словом, был заядлый озорник, но говорят, талантливый скульптор, хотя я его работ лично не видел.
<...>

На утро мы с Рашковым отправились в канцелярию Академии узнать программу и чередность экзаменов. Оказывается, первый экзамен должен был быть по рисунку. Мы вооружились бумагой (размер листа) и пришли на экзамен. Экзаменаторами были Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, его ученик Сергей Васильевич Приселков. Был поставлен гипсовый Апполон. Нужно было полностью его нарисовать. Мы заточили карандаши и принялись усердно работать. Рядом со мной рисовал некто Айзеншер, очень уверенно, смело и похоже. Он быстро справился с задачей. Я изумился таланту, подумав, что это современный Брюллов, и позавидовал. Я исполосовал отчаянно свой лист вспомогательными линиями, чтобы крепче поставить фигуру. Подошедший Петров-Водкин одобрил мой прием, и я чуточку успокоился.

Следующий экзамен был по живописи, а я хотел держать экзамен на графический факультет, но был смущен требованием изобразить натюрморт в

«графическом разрешении». Что значило в «графическом разрешении», я не знал, и никто не смог мне объяснить. С отчаяния я тоже решил экзаменоваться по живописи. Загрунтовал холст и впервые в жизни начал писать обнаженный торс мужчины.

Не дожидаясь вывешивания списков о результатах экзаменов, я уехал в Ростов, уверенный, что, наверно, провалился. Вдруг из Вологды получаю письмо от Коли Рашкова, что он дождался вывешенных списков, и что мы оба приняты на живописный факультет, ни много - ни мало, как в мастерскую Петрова-Водкина. Я очумел от радости. Мгновенно собрался и махнул в загадочный город. Ни родных, ни знакомых у меня в Ленинграде не было. Меня поместили в общежитии первого этажа окнами на 2 линию Васильевского Острова. Вместе со мной оказался в этом общежитии Грицко Бондаренко из Харькова, уже кончающий Академию. Милый оказался человек, большая умница. Он охотно и увлеченно стал говорить со мной о композиции. Из его разговора я понял, что он находится под влиянием Фаворского. Я со вниманием слушал. Меня смущало только, что я, собственно, по натуре не живописец и мечтал учиться на графическом факультете, но утешало одно: я уже был уверен, что из мастерской Петрова-Водкина легче будет перевестись на графический. Так, собственно, я и сделал. Пробыв некоторое время у Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина, я попросил перевода на графический факультет. Петров-Водкин разрешил, а предварительно я разузнал состав преподавателей. Состав оказался отличным: Митрохин, Конашевич, Кругликова (офорт), Шилинговский (резцовая гравюра). Я пошел в академическую библиотеку знакомиться с изданиями Митрохина, Чехонина, Конашевича и Нарбута. Ближе всех для меня оказался Д.И. Митрохин, он же руководил дисциплиной «книжная графика». Я был очень рад. Меня интересовала книжная графика, чему я и хотел обучаться. Таким образом, я оказался на графическом факультете и стал знакомиться с новыми товарищами. Было их 27 человек. Студия была сыровата, я кутался в романовский полушубок. Носил валенки. В них я и приехал. Помню свой первый приход в мастерскую книги. Д.И. Митрохин казался малость мрачным, в котелке. Я затрепетал и внимательно вслушивался. Первым учебным заданием было: сделать рамочное оформление для предметов сельского хозяйства и продуктов. Высшей оценкой считалась первая категория, т.е. единица. Я за первое задание получил первую категорию, «отлично». Это меня воодушевило. Айзеншер, которого я на экзамене принял за Брюллова, оказался малоодаренным, особенно в области композиции. Вот тебе и «Брюллов».

Учителя

Любил иногда посматривать мои работы Грицко Бондаренко и обычно их похваливал. Это меня бодрило. В общем, я стал думать, что как будто нашел себя и свой участок жизни.

В то время на факультете была в бойком ходу провинциальная теория: сидеть и корпеть над заданиями не надо, все дело в вдохновении. О вдохновении горячо и много болтали, с азартом, запальчиво крича, что только бездарь и тупица

корпит часами над композицией, тогда как только вдохновение является проявлением истинного таланта. «Э, милые мои, тут что-то не то, – думал я. – Почему-то в музыке надо заниматься в сутки 6-8 часов, а здесь достаточно сидеть и ждать вдохновения, как у моря погоды. Музыка и изобразительное искусство – две сестры одной родной матери». В общем, болтают чушь, решил я. Придя в общежитие, поделился своими соображениями с умницей Бондаренко. Он целиком разделил мою точку зрения, и я стал работать над факультетскими заданиями так же, как в свое время работал в области музыки, считая болтовню студентов откровенной глупостью. Словом, я никакой разницы не вносил в работу в области музыки и изобразительного искусства, решив, что художником нужно быть только хорошим, или совсем им не быть. Я нигде не бывал, торчал дома и терпеливо корпел над курсовыми заданиями. Часто бывал в библиотеках, в Эрмитаже – в отделе эстампов, где работали очень милые люди, любезно помогавшие мне в моих стараниях. Помню милую Татьяну Давыдовну Каменскую, Михаила Васильевича Доброклонского, которым я в особенности обязан своим пониманием и знакомством с крупнейшими мастерами графики мирового уровня. Я ходил в Эрмитаж самостоятельно, без обязательных курсовых посещений по программе факультета, что давало мне крепкую основу в очередных работах по заданию. Через год я уже вышел в первые ученики, и меня выбрали старостой курса. При просмотре выполненных заданий мои работы укладывались уже только в первых номерах. А я с упоением работал, поняв, что, кажется, наконец-то нашел себя, пройдя по путанной, пестрой дороге к самому себе.

Как-то на отчетной выставке выпускников графического факультета меня поразила своей свежестью и неожиданностью работа студента Николая Васильевича Алексеева под названием «Цирк». Мне она очень понравилась. Что-то в ней напоминало малость Ю. Анненкова, но что-то было и новое, неожиданное. Позже, на третьем курсе, я увидел Алексеева в стенах самой Академии. Он готовил к зачету литографию «Колонна в Академическом саду». Каким-то образом я завел с ним разговор. Он был очень прост, и неожиданно пригласил к себе домой. Я воспользовался его любезностью и в один из ближайших дней к нему пришел. Мы разговорились. Я выразил свое удовольствие при знакомстве с его работами на отчетной студенческой выставке. Это ему чуточку польстило, и он предложил мне у него бывать запросто, познакомил со своей женой Татьяной Венедиктовной. Так завязались наши отношения. Он меня познакомил с ведущими художниками книг - Пожарским, Хижинским, Белухой.

Он же помогал мне советами в отношении академических учебных заданий, а я помог ему собирать материалы для его заказных работ по издательствам. Заказов у него была уйма, и он нуждался в помощнике по сбору материала, тут я ему и пригодился.

В Ленинград Алексеев приехал с группой своих товарищей из Киева в 1921 году. Среди них были Хижинский, Пожарский, Кирнарский. Среди этой группы (я считал и считаю) самым одаренным был Алексеев. Он был шире,

разнообразнее своих товарищей в творческом плане. Характер его был слегка деспотичный, но человек исключительно интересный. Он был первым художником-иллюстратором, который начал сотрудничать с «Издательством писателей» в Ленинграде. Работал много и разнообразно. Издательства не скупилась на заказы для него и очень высоко ценили. Но книжная обложка занимала Алексеева только как этап художественного развития. Любимым писателем для него был Достоевский, которому он, собственно, и отдал всю свою творческую жизнь. Когда «Издательство Писателей» узнало, что Алексеев сделал иллюстрации к «Игроку» Достоевского, у руководства не было ни минуты колебания издать эту повесть именно с рисунками Алексеева. Это была первая иллюстрированная книга, выпущенная «Издательством Писателей» <...> В этих рисунках Алексеева обнаружилось взволнованное отношение художника к образам, созданным писателем. Алексеев стремился всегда работать только над той книгой, которая влекла его к себе художественными особенностями. Страдал, если нужно было взяться за иллюстрацию текста, оставлявшего его холодным и равнодушным. Он принадлежал к художникам, берущимся за бумагу или доску не только по заказу издательства, но и по собственному влечению. Наследие Алексеева дает впечатление единства стиля последовательного и тонкого реалиста. Индивидуальность его шла красочно к своему раскрытию и утверждению. Умер он, к сожалению, очень рано, в расцвете творческих сил, лет сорока, простудившись и тяжело заболев после катания на коньках. Последней его работой были иллюстрации к повести Достоевского «Кроткая», над которыми он трудился мучительно долго даже будучи смертельно больным. Остались очень интересные его работы и по шрифту. Ими он создал, как говорил Митрохин, «круги по воде». Оформленные им обложки отличаются яркой индивидуальностью и острой характеристикой. Мне было очень грустно потерять такого товарища.

В 1927 году на курсовом экзамене вместе с нашими педагогами появился, приглашенный Митрохиным, его друг Виктор Дмитриевич Замирайло. Мы уже знали этого странного, интригующего нас мастера. Одет он был в пальто-крылатку, с копной седых волос, выбивавшихся из-под шляпы и с лупой в руках. Каждую работу он тщательно просматривал в лупу, выискивая, как потом узнали, след рейсфедера или линейки. Это был очень своеобразный и странный человек. Дома у него существовали свои правила встречи с желающими его посетить. Если в окне был вывешен лист бумаги с рисунком черепа и костями – лучше его не беспокоить. Хозяин не в настроении для беседы. Живя в коммунальной квартире и испытывая раздражение против шума соседей, он швырял в стенную перегородку стулья и книги. Настолько он был раздражителен. Очень не любил Шекспира. В искусстве у него была страстная любовь к Густаву Дорэ – гениальному французскому художнику-иллюстратору. Все выпускаемые издания с ним он ревностно скупал, и дома хранились целые штабеля книг Дорэ. В жизни у него было увлечение одной цирковой наездницей, которая часто фигурировала в его произведениях, как основной сюжет, и под впечатлением своего увлечения им была создана акварель «Ведьма». Как-то, обедая в ресторане, он оказался рядом с соседним столиком, где обедала группа офицеров, и один из них грубо отозвался об этой наезднице.

Замирайло, не долго думая, встал, подошел к столику и дал пощечину офицеру, плохо сказавшему о его даме. Офицер выхватил шашку, намереваясь ударить Замирайло, но вмешалась публика и потушила скандал, учиненный художником. Помню как-то один наш студент-дуралей осмелился не согласиться с замечанием Замирайло о его работах. На что Замирайло раздраженно ответил: «Яйца начинают учить курицу».

В искусстве есть художники, творчество которых в значительной степени обусловлено биографическими моментами. И есть уединенные мечтатели, келейные затворники, чья жизнь небогата внешними событиями, но сосредоточена на внутреннем опыте, чье творчество питается не из вне данной видимостью, а созерцанием, обращенным к тайникам собственного сознания. Ко второй категории и принадлежит Виктор Дмитриевич Замирайло.

Родился он в 1868 году в Черкасах Киевской области. Тринадцати лет поступил в школу Мурашко, где занимался живописью до 1886 года. Вскоре ему довелось участвовать в росписи Владимирского Собора. Художественным руководителем этих работ был М.А. Врубель, оказавший большое влияние на развитие Замирайло, как художника. Позже, переехав в Москву, Замирайло еще больше сблизился с гениальным автором «Демона», внимательно изучил его творчество, и многому от него научился. С 1908 по 1910 годы создает большую серию фантастических рисунков, получивших общее название «Каприччио». В 1914 году Замирайло переезжает в Петербург и сближается с художниками «Мира искусства». Чтобы ни говорили о влияниях, испытанных Замирайло от Доре, Гранвиля и даже Врубеля, для нас совершенно очевидно исключительное своеобразие этого мастера, умевшего по своему видеть мир и по своему его отображать. Творчество родственных по духу художников иногда дает ему какие-то стимулы, темы, намеки, но в конкретном воплощении того или иного замысла он всегда верен себе, своему вкусу, своему мироощущению. Даже в слабых рисунках Замирайло нет банальности, нет трафарета, нет дешевой ремесленной бойкости. Всегда чувствуется в них большой художник, настойчивый и добросовестный. В акварелях Замирайло особого рассмотрения заслуживает колорит и излюбленный прием - мягкий серый мышинный тон разбавленной туши или сепии. Иногда он подкрашивает рисунок, применяя неяркие, приглушенные тона в немногочисленных изысканных сочетаниях.

В.Д. Замирайло – типичный художник-одиночка. У него не может быть последователей и подражателей. Он не создаст школы. У него едва ли можно учиться. Да, собственно, мы у него и не учились, только благодарно любовались его работами, с трудом вникая в полупрозрачный, таинственный, жуткий, но прекрасный мир фантазии. Я благодарю судьбу, что мне довелось в свое время так близко его видеть и прикоснуться к его творчеству. Замирайло сильнее всего там, где он не связан никаким заданием, никаким заранее данным сюжетом. Внезапно рожденные из недр подсознательной жизни встают перед ним образы неизъяснимо пленительные, вызывающие восторг и умиление. А разве этого мало для молодого студента, обогащающего свою душу такой мощной радостью? А какая создается атмосфера для процесса творчества! Сколько

пробуждается взволнованных чувств! Это ли не благо для обучающегося. За все это я чрезвычайно благодарен Замирайло. Все это сторицей перекрывает сухие, нормальные процессы обычной школы. Опасность впасть в беспредметную лирику тоже весьма близка. И я бесконечно признателен счастливой поре обучения у Замирайло. Спасибо и Д.И. Митрохину за то, что не побоялся привлечь к педагогике такого сложного, но интереснейшего мастера, как Виктор Дмитриевич Замирайло. Это, в сущности, одна из ярких страниц моей скромной жизни.

До самых преклонных лет Замирайло жил под опекой бывшей натурщицы, бесконечно ему преданной, на руках которой он и умер. Натурщицу, опекавшую Виктора Дмитриевича, я не знал, не знаю и ее фамилии. Стыдно, что до сих пор нет никакой монографии о столь замечательном художнике.

Я уже упоминал, что просматривая в библиотеке Академии издания русских графиков, отметил для себя и полюбил художника Митрохина Дмитрия Исидоровича. Инстинктивно я оказался прав в своем чувстве. Я у него учился, у него заканчивал мастерскую в Академии Художеств и был предан ему всю жизнь. Надо сказать о периоде жизни Митрохина после Революции. Коллектив художников «Мира искусства» фактически оказался за рубежом. В России из плеяды «Мир искусства», по существу, остался один Митрохин, живший в Ленинграде и никуда не думавший уезжать, а искренне и полностью вошедший в строительство новой советской жизни, работая в области книжного искусства. На его плечи легла громадная забота о возрождении издательского дела и подготовка новых, молодых кадров художников книги.

В росте и развитии советской графики значительную роль сыграла его педагогическая деятельность, как приглашенного в 20-х годах руководить процессом на графическом факультете Ленинградской Академии художеств. Заведующий кафедрой и мастерской книжной графики профессор Митрохин воспитал целый ряд художников, в последствии ставших признанными мастерами книги. Уже после войны Митрохин из эвакуации переезжает в Москву, к родственнице, где продолжает работать и умирает, достигнув 90-летнего возраста, в котором лишь немногие способны трудиться. Но самое поразительное и замечательное заключается в том, что Митрохин не просто работал, а постоянно развивался как художник.

Изо дня в день, из года в год он искал новый, живой (по его словам) изобразительный язык и находил новые способы, средства, формы выражения наблюдений, добиваясь в рисунке все более полного раскрытия вечно изменяющейся и никогда не повторяющейся действительности.